

Мой Ши Тешэн

Лань Ци

Началось с тетради. Лето, жара, окно открыто настежь, а я — за столом, сжимая в потной ладонке карандаш. «Мама, я не знаю, о чём писать!» — плачуще тяну я. Мать, отложив вязание, берёт мою тетрадь. «Расскажи про человека, который сидел в коляске и писал о парке. Его зовут Ши Тешэн». Так, в семь лет, сквозь слёзы и кляксы, я узнала это имя — три иероглифа, похожих на птиц, сложивших крылья.

Учительница осенью похвалила мой дневник: «Какая зрелая мысль для второго класса!» Я молчала, сгорая от стыда. Ведь это мама вплела в мои детские строки его имя — незнакомца в коляске, разговаривающего с соснами.

Четыре года спустя, в библиотеке, я нашла книгу с жёлтой обложкой — «Я и Храм Земли». Страницы пахли дождём и старыми клёнами. Он писал о каменных ступенях, по которым ползёт мох, о голубиных крыльях, разрывающих тишину, о матери, что в страхе искала его меж аллей. Я читала, прижимая ладони к холодному столу — будто через бумагу чувствовала дрожь его пальцев, сжимающих ручку.

Первый раз в парке Дитань я пошла с отцом. Октябрь золотил кроны гинкго. «Вот скамья, где он сидел», — показал папа на плиту, отполированную временем до блеска. Я присела, положив рядом раскрытую книгу. Ветер перелистывал страницы, останавливаясь на строчках: «Смерть — это не спешка, а терпеливый слуга у двери». Внезапно поняла — каждая травинка здесь помнит скрип его колёс.

Ши Тешэн стал моим учителем молчания. В пятнадцать, когда сверстники рвались в интернет-клуб, я приходила в парк слушать, как осень отсчитывает секунды листопадом. Его слова о «боли как спутнице мудрости» висели в воздухе, как паутинки между ветвей. Однажды, увидев мужчину в инвалидной коляске, читающего у пруда, я едва не бросилась к нему — вдруг это он, вернувшийся дописать незаконченную главу?

Мама теперь смеётся: «Ты влюблена в призрак». Но разве призрак может так менять жизнь? Благодаря ему я научилась видеть в трещинах асфальта узоры судеб, в птичьем крике — вопросы без ответов. Когда бабушка умерла, я перечитывала его эссе о матери — и скорбь превращалась в тихую беседу сквозь время.

Сейчас, глядя на фото Ши Тешэна — худощавое лицо, очки, улыбка, в которой читается вся боль и вся мудрость Поднебесной — понимаю: он подарил мне двойное зрение. Детскими глазами вижу героя маминых рассказов — человека, победившего коляску. Взрослым взглядом — философа, превратившего парковую скамью в храм, где время и вечность пьют чай из общих пиал.

Иногда мне кажется, что Дитань — это огромная книга. Камни — иероглифы, деревья — пунктуация, а следы его колёс — подчёркивания под главными мыслями. Я всё ещё прихожу сюда, как когда-то с белой тетрадью. Только теперь вместо карандаша в руке — его сборник эссе, на полях которого жизнь пишет продолжение.

Мой Кант

Цзи И

Начинается как страница из учебника, затерянного меж пыльных стопок — "Критика чистого разума" — Тайна сумерек. В кабинете учительницы висел портрет в золоченой раме — старик, согнувшийся над вечностью, как дерево под тяжестью снега. Сумерки липли к стенам, а лампа на столе отбрасывала тень, похожую на вопросительный знак. Я трогала корешок книги — шершавый, как кора, — и слушала, как тишину режет скрип жалюзи. «Он умер в своей постели, — сказала учительница, — но смерть его была лишь закрытием окна, через которое мы все еще смотрим».

Первое, что я поняла о Канте — что он построил мост между звездами и мозгом.

Мост из «априори» и «апостериори», шаткий, как осенний лист на ветру. «Вещи-в-себе» остались за стеклом, а мы — внутри, рисуя мир акварелью из нервов и сновидений.

«Разум — это часовщик, — шептала книга, — он собрал Вселенную из шестеренок, которые никогда не коснутся друг друга».

На столе лежало яблоко — румяное, с червоточиной у плодоножки. Учительница вращала его в руках: «Форма? Цвет? Даже гниль — это лишь тени от нашей свечи. А Кант спросил: где стена пещеры?» Я представила, как свеча горит внутри черепа, освещая лабиринт, где время сплетается с пространством в узлы, которые нельзя развязать — только созерцать.

Коперник сдвинул землю, Кант — взгляд. Он заставил солнце вращаться вокруг зрачка, превратил небо в зеркало, где отражались извилины. «Мир — это то, что остается, когда закрываешь глаза», — говорила учительница, а за окном ветер гнул голые ветви, словно пытался начертить на воздухе категорический императив. До Канта были другие образы: в классе географии — глобус с трещиной по экватору; в библиотеке — портрет Ломоносова с пробиркой, застывшей в вечном падении. Но здесь, меж стопок тетрадей и запаха старых чернил, происходила тихая дуэль: разум против бездны.

Два выстрела — «феномен» и «ноумен» — оба пробили мишень, но кровь оказалась чернилами.

Кант стал моим философом, и моего философа не убили — его тело просто износилось, как переплет этой книги. Но парижские гильотины или кенигсбергские туманы — что убивает сильнее? Он оставил клетку с открытой дверцей, где мы до сих пор сидим, рисуя созвездия на решетках.

Памятник Канту стоял на полке меж вазой с засохшими цветами и стеклянным медведем, подаренным выпускниками. Пыль оседала на его гипсовом парике, но взгляд оставался острым — будто резал реальность на «до» и «после».

«От Кенигсберга до этой комнаты — один шаг, — сказала учительница, — шаг, который делает мысль, когда перестает бояться самой себя».

Я смотрела на портрет: его морщины казались руслами рек, по которым плывут корабли идей. Сумерки густели, и вдруг граница между столом, яблоком, книгой — растворилась. Кант кивнул мне с портрета — или это качнулась тень? — а я поняла, что ключ от клетки ума всегда был в моей руке.

Мой Ли Бай

Ху Веньдуньянь

Была картина в доме родителей — «Пьяный поэт».

Ночь, одинокий человек в развевающихся одеждах стоит на краю скалы, подняв кубок к луне, а потом исчез в водах реки, пытаюсь обнять отражение Луны.

Первое, что я узнала о Ли Бае — он утонул, пьяный от вина и красоты Луны. Потом я узнала, что Ли Бай — поэт, а луна — его вечная муза. А еще — что император сослал его за «слишком яркие слова». Я решила: слова были ярче солнца, поэтому их запретили.

С тех пор, как Ли Бай на моих глазах на картине — исчез в реке, ежедневно, ежечасно, непрерывно исчезало все мое детство, отрочество, юность — я поделила мир на поэтов и всех остальных, и выбрала поэтов, в тайне выбрала поэтов: защищать — поэтов — от всех, как бы они ни назывались.

Ли Бай был моим первым поэтом, и моего первого поэта — поглотила луна.

Поэзия Ли Бая осталась. Она течёт, как река, светится, как луна. И каждый раз, когда я смотрю на луну, я вспоминаю о Ли Бае. Так что поэзия Ли Бая была моей первой встречей с бессмертием: поэт уходит, но стихи остаются.